

**Валерий Казаков,**  
*член Союза писателей России,  
участник фестиваля  
«Во славу Бориса и Глеба»,  
Кировская область*



## **МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ КУСТ**

*Рассказ*

**Т**от, кто не пробовал на вкус акварельные краски, никогда не сможет стать настоящим художником. А мои краски просто невозможно было не попробовать, потому что они назвались «медовые».

Сейчас мне кажется, я стал рисовать только потому, что мне понравилось облизывать кисть, на кончике которой крупной каплей висела акварельная краска.

Особенно сладкой показалась мне краска желтого цвета. Она чем-то напомнила настоящий мед, который хранился у деда в липовой кадлушке. По этой причине на моих первых картинах большую часть неба обычно занимало солнце. Можно было рисовать солнце и облизывать излишки краски.

Потом под желтым солнцем я рисовал зеленую траву, потому что светло-зеленая краска была вкуснее синей. И только после этого приторно горькой синей краской я раскрашивал небо.

Коричневая краска, с помощью которой я изображал тучные стволы деревьев, тоже была съедобной, хотя и оставляла во рту кислотоватое послевкусие.

Но особенно отвратительной казалась мне тогда розовая краска. Она была не просто вяжущей и горькой — она имела резкий и неприятный запах, который пробивался даже сквозь аромат меда. Поэтому розовой краской я никогда ничего не рисовал. Она внушала мне опасение, предостерегала...

Позднее я узнал, что розовая краска и правда была очень ядовитой. Она включала в себя кадмий.

Рисовать свои первые картины я уходил за огород, туда, где начиналось бесконечное колхозное поле с одуванчиками. В начале июня это поле становилось совершенно желтым, забрызганным яркими капельками живого солнца. В этом желтом поле я садился под одинокий куст темно-

зеленого можжевельника, который рос рядом с нашим огородом, и рисовал. От можжевелевой хвои исходил смоляной дух, а перед глазами была солнечная поляна — уходящая вдаль желтизна.

На листе бумаги акварельными красками я пытался изобразить тот восторг, который меня переполнял при взгляде на эту солнечную равнину, но как ни старался — у меня ничего не выходило. На белом листе появлялось зеленое поле с вкраплениями вкусной желтизны, синее горьковатое небо и белые, совершенно безвкусные облака.

Я смотрел на свою картину и не понимал, почему она не передает мои ощущения? Почему в ней нет того обилия света, от которого рябит в глазах?

Немного позднее я решил, что не могу добиться желаемого, потому что рисую акварельными красками, а настоящие художники всегда пользовались масляными. Все картины Шишкина и Васильева написаны именно маслом.

После этого я стал приставать к отцу, чтобы он поскорее купил мне масляные краски. Мне казалось, что если у меня появятся масляные краски, я тут же начну создавать шедевры, подобные тем, которые принадлежат кисти Левитана и Поленова. Ведь в масляных красках, пусть они и неприятные на вкус, скрыто нечто мистическое. Они заставляют оживать даже портреты людей, не говоря уже о природе. Природу изобразить масляными красками так же легко, как раз плюнуть.

И, что самое удивительное, отец купил мне масляные краски.

Я взял лист картона, краски в свинцовых тюбиках, скипидар и убежал со всем этим богатством за огород в поле. Только теперь на этом поле уже не было одуванчиков. Зато оно ярко пестрело белым ковром ромашек.

Я сел под можжевелевый куст, положил перед собой лист картона и стал рисовать на нем зеленую траву, белые ромашки, синеватые соцветия цикория, красноватые метелки иван-чая, темный клен возле сеного сарая, крапиву вдоль забора. И, кажется, все у меня получалось как нужно, картина выходила цветной и яркой, только какой-то неживой, ненастоящей. Она не вызывала того восторга, который появлялся в душе от реального вида природы. Она не передавала чего-то очень важного, что невозможно изобразить ни линией, ни мазком, ни лессировкой.

И тут я понял, что никакими красками этого чувства не выразить. Тут надобно стать поэтом, как Пастернак или Есенин.

Короче говоря, через несколько дней я снова сидел под можжевелевым кустом и писал первое в своей жизни стихотворение.

Начиналось оно так:

В желтом цвете зверобоя  
И сплетении трав высоких  
Есть волнение прибоя,  
Приливная сила соков...

Мне казалось, что стихотворение не закончено, оно должно продлиться, но порыв вдохновения почему-то иссяк. Потом я еще долго пытался найти в своей душе что-то совершенно новое, присущее только мне, и не мог больше ничего придумать. Разочарованно поднялся с земли и, заложив руки за спину, стал картинно разгуливать вдоль забора туда-сюда, как это делают настоящие поэты... Но в голове и на этот раз почему-то было совершенно пусто. Я сел на землю возле колючего можжевелевого куста и решил, что лучше буду писателем. Писатель может излагать свои

мысли, не забывая о ритме и ритме. Он может оставаться самим собой всегда. А чтобы быть самим собой, не обязательно хорошо учиться в школе, иметь пятерки по русскому языку и литературе. Писатель вполне может быть плохим человеком, пьяницей или трусом. Таких примеров достаточно. Важно научиться все видеть и все замечать. Важно вести дневник и записывать туда все свои впечатления, интересные детали, разные смешные мелочи, которое в дальнейшем могут пригодиться.

Ну конечно, жаль расставаться с масляными красками, которые так ароматно пахнут, с кистями и палитрой. Но призвание не ждет. Призвание дороже. Чем скорее я начну к нему приближаться, тем лучше.

Я кинулся перечитывать Бунина и Набокова, Чехова и Куприна. И в какой-то момент мне показалось, что я могу писать не хуже. Вот возьму и напишу короткий рассказ, такой же смешной, как у Чехова, но при этом такой же пронзительный, как последние рассказы Ивана Бунина из книги под названием «Темные аллеи». Вот возьму и напишу.

И в это время как-то неожиданно мне исполнилось шестнадцать. Я начал писать роман о любви, как все настоящие писатели, и неожиданно... влюбился сам. Я никого любить не хотел, но почему-то все чаще стал посматривать на Галю Полушкину, у которой были густые русые волосы, синие глаза и румянец во всю щеку.

Галя Полушкина была девочка полная и милая, но вовсе не самая красивая в нашем классе. Зато она была очень скромной, хорошо училась и всегда производила на меня впечатление тени проплывающей. Потому что никогда не поднимала на меня глаза. Мне кажется, эти ее опущенные глаза и поселили в моей душе загадку. Я не понимал, почему она не может смотреть на меня так же, как все остальные девочки. А когда я на нее смотрю — она быстро отводит взгляд.

Осознание того, что я могу кому-то нравиться, стало для меня полной неожиданностью. Я был тогда худой, нескладный, темноволосый, с каким-то неопределенно тонким голоском, длинными руками и носом, как у Николая Васильевича Гоголя. Я вовсе не рассчитывал произвести на кого-либо хорошее впечатление — и вдруг такое...

Короче говоря, первое свидание я назначил Гале у можжевельного куста.

Я думал, что она не придет. Ну кого может заинтересовать долговязый худой юнец с маленькими бегающими глазками и большими оттопыренными ушами, который постоянно носит в кармане брюк грязный маленький блокнот, куда записывает все свои глупые мысли. Первая запись в этом блокноте гласит: «Галя Полушкина. Пышка. Придет или не придет»?

Ожидание тянулось недолго. Но даже за это короткое время я успел подумать о том, что лучше бы она не приходила. Тогда все останется как прежде. Если Галя не придет, то ромашковое поле и можжевельный куст навсегда будут только моими.

Но она пришла. Она пришла, не поднимая глаз. Она приблизилась ко мне так нерешительно, так осторожно, что мне тут же захотелось ее обнять. Такая она была милая и угловатая. Я никогда не обнимал девочек, я считал, что в этом нет ничего интересного, но на этот раз со мной творилось что-то невообразимое.

— Здравствуй, — сказала она, хотя мы уже виделись в школе.

— Здравствуй, — ответил я.

— Чем ты здесь занимаешься? — снова спросила она.

— Я иногда здесь рисую, — ответил я.

Она стояла рядом со мной, теребила в руке тонкую травинку, но глаз не поднимала. Она смотрела себе под ноги и пошевеливала носком темной туфли блестящий камушек. Я мог бы написать «носком темной туфельки», но это было бы не совсем верно. Галя была девочкой упитанной, и туфли у нее были приличного размера. Она была из тех молодых сельских девчат, которые к шестнадцати годам становятся очень похожими на зрелых женщин — на своих матерей. И пахло от нее, как от зрелой женщины. Чем-то плотским и пряным.

— Ты давно меня ждешь? — снова спросила она, все еще не поднимая глаз.

— Да нет, я только что пришел.

— Прогуляемся.

— Да.

— А куда пойдём?

— В поле, — машинально ответил я.

И мы пошли в ромашковое поле. Не знаю, как она, а я выбрал это направление для того, чтобы нас никто не увидел. Мне почему-то казалось, что я выгляжу с рядом этой невысокой и полной девочкой очень неловко. Она упитанная, я — худой. Она румяная, я — бледный. Она стеснительная, а я... И тут я понял, что в этом смысле ничем от нее не отличаюсь. Я иду рядом и взволнованно молчу. Кажется, я все про нее знаю, и она про меня знает все. Я знаю, что у нее волнистые русые волосы и большие синие глаза, прикрытые густыми серыми ресницами. Что она говорит неуверенным мягким голосом, часто дышит, легко переступает стройными ногами. Она не отличница и не отстающая ученица. Но в ней живет тайна.

Вот уже и окраина леса с редко стоящими молодыми стройными соснами вдоль дороги, а мы все так же шагаем рядом и молчим. Мне очень хочется взять ее за руку, но какая-то странная нерешительность, кажется, вовсе не свойственная мне, мешает это сделать. Вот уже лес начался, молодой сосняк сменился березами, в низинах появился папоротник.

— Может, повернем обратно, — вдруг предложила Галя.

— Давай, — отозвался я.

Мы развернулись, и в это время моя рука коснулась ее руки. Я на мгновение замер и как-то совершенно непроизвольно, по инерции, подхватил ее ладонь. И тут же от ее руки мне что-то передалось. Ее ладонь стала теплой и покорной, непривычно доверчивой. Как будто это была уже не рука Гали Полушкиной, а расплавленный воск, мякоть запретного плода, маленькая, похожая на птицу душа.

Мы шли, молчали, а наши руки разговаривали между собой. Ее рука говорила моей:

— Ну вот, наконец-то ты рядом.

— Я тоже рад, — отвечала ей моя рука.

— Ты такой теплый.

— И ты теплая.

— А кто у кого в плену?

— Ты у меня.

— Нет, ты у меня. Разве ты не чувствуешь, как крепко я тебя держу?

— Чувствую. Но это еще не любовь.

— Нет, любовь.

— Почему?

— Мы обменялись теплом. Твое тепло стало моим, а мое — твоим.

Где-то в середине поля мы остановились. Я был уверен, что сейчас она поднимет на меня глаза. Моя рука, мое тепло, мои пальцы ей все объяснили. Сейчас Галя могла быть уверенной, что я испытываю те же самые чувства, что и она, а следовательно, стесняться ей больше нечего.

И она действительно глаза подняла. Это был самый счастливый момент для меня. Она подняла на меня глаза, которые могла в любой момент опустить. И в этих глазах было столько надежды, стеснения и неуверенности, столько внутреннего тепла, что говорить снова стало не о чем. Глаза не сказали — прокричали мне, что я ей нравлюсь, даже такой нескладный, худой, скованный и молчаливый.

Я как-то безотчетно потянулся к ее губам, она — к моим. Мы в первый раз поцеловались. И мне показалось, что этот поцелуй не идет ни в какое сравнение со сладковатой горечью акварельных красок. Что он особенный, не похожий ни на стихию стихов, ни на залежи прозы. Он чем-то сродни той музыке, которая звучала в моем сердце от восторга перед ромашковым полем. Этот восторг невозможно описать словами, его можно только почувствовать.

Потом были новые прогулки до леса и обратно, когда слова уже легко находились, и наш разговор мог длиться бесконечно, когда она тайком наблюдала за мной сбоку. Причем я, кажется, знал, о чем она думает в этот момент. Ее излишняя полнота меня уже не волновала. Наоборот, мне казалось, что все настоящие женщины должны быть такими же аппетитными, как она. Иначе у них на щеках не будет такого яркого румянца, как у Гали, они не будут так ловко переступать стройными ногами, так быстро говорить и так просто излагать свои мысли. От них не будет исходить дурмящий и естественный аромат чуть вспотевшего женского тела. И голос у них будет не влажным, не приглушенным и приятным, как у Гали, а станет резким и сухим, как у загорелых и жилистых деревенских старух.

Я узнал, что Галя тоже пробовала писать стихи, когда первый раз влюбилась в учителя пения Александра Ивановича. Ему в ту пору было тридцать пять, а ей едва исполнилось четырнадцать. До этого момента мне казалось, что ранняя влюбленность — это привилегия мужчин, а тут вдруг выяснилось, что это не так. Когда она рассказывала мне о своей первой любви, ее ладонь в моих пальцах трепетала как пойманная птица, и я едва удерживал ее, чтобы не выпустить на стихию излишней правдивости. В какой-то момент я даже стал ревновать ее к Александру Ивановичу, я стал испытывать к нему неприязнь. Какое он имеет право соблазнять столь юных созданий, этот старый мерин, этот лысый и грузный дядька...

Так продолжалось до середины августа. Мы встречались и расставались у можжевельного куста на пологой возвышенности за нашим домом, там, где начиналось заросшее травой и ромашками колхозное поле. Мы мучили себя поцелуями, какими-то излишне крепкими объятиями, ласковыми словами.

И однажды я не выдержал. Можжевельный куст поманил меня к себе. Там, в середине можжевельного куста, было небольшое чистое пространство, устланное шелковистой травой. Мы начали целоваться возле куста, а закончили внутри него на теплой и мягкой травяной подстилке.

Разочарованно покидая можжевельный куст, Галя сказала тогда:

— Что это было? Я не поняла.

— Я не знаю, — смущенно ответил я.

— Больше так не делай, — попросила она.

— Не буду, — пообещал я, и в ту же минуту почувствовал себя очень виноватым перед ней. Хотя, за что виноватым? Почему? Мне, откровенно говоря, было в то время непонятно. Я толком не знал, но уже чувствовал, что должен нести перед этой девочкой некую ответственность за каждый свой шаг, за каждый поступок. Возможно, я поступаю вовсе не так, как хочет она? Может быть, ее рука тогда в лесу сказала мне вовсе не то, о чем я подумал? То же самое произошло и под сенью можжевельного куста. Вероятно, она ждала от меня вовсе не телесной близости, а чего-то совершенно другого. Или вовсе ничего не ждала? Думала, что все будет, как раньше. А я захотел поскорее приблизиться к финальной точке, за которой — бездна неизвестности, бездна вопросов, на которые придется искать ответ...

Но самое удивительное произошло еще через пару дней.

Мы снова долго гуляли, снова много говорили и целовались, а когда пришло время прощаться, когда я уже готов был оторваться от ее теплых губ и направиться к дому, она вдруг взяла меня за руку и потянула к можжевельному кусту. Я покорно шагнул за ней, и когда сделал этот первый шаг, уже понял, что сейчас, сегодня у меня начнется какая-то другая, взрослая и непонятная жизнь. Совсем не такая, какой она была до этого. И будет ли в той другой жизни место восторгам перед ромашковым полем, перед дурманящим и медовым запахом цветущего иван-чая, я не знал...

